
ИЗ ПРОШЛОГО ФИЛОСОФИИ

Ж.-Ж. РУССО

РАССУЖДЕНИЕ О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕРАВЕНСТВА*

Трактаты. М., 1969

Наши политики изрекают о любви к свободе такие же софизмы, какие наши философы изрекали о естественном состоянии. На основании того, что они видят, они судят о совершенно других вещах, которые они никогда не видели, и приписывают людям естественную склонность к рабству, потому что люди, которых видят они перед собою, терпеливо сносят это свое рабское состояние; они не задумываются над тем, что со свободой дело обстоит так же, как с невинностью и добродетелью, цену которым ощущаешь лишь до тех пор, пока ими обладаешь, и вкус к которым утрачиваешь, едва только их потеряешь. «Я знаю утехи твоей страны, – говорил Брасид¹⁴¹ одному сатрапу, который сравнил уклад жизни в Спарте с укладом жизни в Персеполесе¹⁴², – но отрады моего отечества не могут быть тебе известны».

Как не знавший узды дикий скакун вздымает гриву, бьет копытами о землю и яростно отбивается, как только к нему приближаются с удилами, тогда как выездженная лошадь терпеливо сносит и хлыст, и шпоры, так и дикарь не

* Окончание. Начало см.: Философия и общество. 2001. № 1–2.

может склонить голову под ярмо, которое человек цивилизованный несет безропотно, и предпочитает свободу, полную тревог, спокойствию порабощения. Не по глубокому падению порабощенных народов нужно судить о естественном предрасположении человека к рабству или против рабства, но по тем чудесам, которые совершили все свободные народы, чтобы оградить себя от угнетения. Я знаю, что первые не устают превозносить мир и спокойствие, которыми они наслаждаются в своих оковах, и что они *miserrimam servitutem pacem appellant**. Но когда я вижу, что вторые жертвуют удовольствиями, покоем, богатством, властью и даже самую жизнь, чтобы сохранить только это достояние, к которому с таким пренебрежением относятся те, кто его потеряли; когда я вижу, как животные, которые рождены свободными и ненавидят неволю, разбивают голову о прутья своей тюрьмы; когда я вижу, как толпы совершенно нагих дикарей презирают наслаждения европейцев и не обращают внимания на голод, огонь, железо и смерть, чтобы сохранить свою независимость, я понимаю, что не рабам пристало рассуждать о свободе.

Что до власти отцовской, из которой многие¹⁴³ выводили происхождение власти неограниченного правителя Государства и вообще общества, то, не прибегая даже к тем доказательствам противного, которые уже дали Локк¹⁴⁴ и Сидней¹⁴⁶, достаточно будет указать, что нет ничего более далекого от жестокого духа деспотизма, чем мягкость этой власти¹⁴⁷, поскольку она больше заботится о выгоде того, который повинуетя, чем о пользе того, который приказывает; что по закону природы отец является повелителем ребенка лишь до тех пор, пока тому необходима его помощь, а после окончания этого срока они становятся равными, и тогда сын, полностью независимый от отца, обязан почитать его, но не повиноваться, ибо признательность, конечно, является долгом, который нужно выполнять, но не правом, которого можно для себя требовать. Вместо того,

* Жалкое рабство называют миром (*лат.*), Тацит. История, кн. IV. гл. XVII¹¹⁵

чтобы утверждать, что гражданское общество происходит из отцовской власти, следовало бы говорить, напротив, что именно от общества эта власть получает свою главную силу. Какой-либо индивидуум был признаваем отцом многих, лишь пока они оставались собранными вокруг него. Узами, удерживающими детей в подчинении отцу, является лично принадлежащее ему его имущество: и он может оставить им в наследство часть, пропорциональную тому, что они заслужат у него постоянным соблюдением его воли. Однако подданные отнюдь не могут ожидать подобной милости от своего деспота. Они сами и все то, чем они обладают, представляет собой его собственность, или по крайней мере он притязает на это: они вынуждены получать как милость то, что он оставляет им из их собственного имущества. Он отправляет правосудие, когда их обирает, он милует их, оставляя им жизнь.

Если бы мы продолжали таким образом рассматривать факты с точки зрения права¹⁴⁸, то нашли бы, что предположение о добровольном установлении тирании имеет столь же мало основательности, как и истинности, и было бы трудно объяснить, как может иметь силу какой-либо договор, налагающий обязательства только на одну из сторон, в котором все возлагается только на нее и который оборачивался бы во вред тому, кто по этому договору берет на себя обязательства. Эта отвратительная система рассуждений очень далека от того, чтобы применяться даже в наши дни мудрыми и добрыми монархами, особенно же королями Франции, как это можно видеть из различных мест их эдиктов и, в частности, из следующего известного сочинения¹⁴⁹, обнародованного в 1667 году от имени и по приказанию Людовика XIV: *«Пусть же не смеют говорить, что суверен не подвластен законам его Государства, потому что положение обратное – это истина международного права, которую льстецы иногда оспаривали, но которую добрые государи всегда почитали как божество – покровительницу их государств. Насколько справедливее сказать вместе с Платоном, что для полного благополучия*

королевства нужно, чтобы подданные повиновались государю, чтобы государь повиновался Закону и чтобы Закон был справедлив и всегда, был направлен к общественному благу». Я не стану вовсе останавливаться на исследовании вопроса о том, что если свобода является благороднейшей из способностей человека, то не унижает ли он свое естество, не низводит ли он себя до уровня животных – рабов инстинкта – и не оскорбляет ли он своего создателя, если отказывается безоговорочно от этого драгоценнейшего из всех его даров; если он позволяет совершаться всем тем преступлениям, которые тот запрещает совершать нам, для того чтобы угодить свирепому или безумному господину; и не большим ли должно быть возмущение сего блистательного работника, если он увидит прекраснейшее свое создание обесчещенным, чем если увидит он его уничтоженным. Я пренебрегу, если угодно, авторитетным мнением Барбейрака, который ясно заявляет, следуя Локку¹⁵⁰, что никто не может настолько продать свою свободу, чтобы подчиниться самовластной силе, которая обходилась бы с ним по своей прихоти: «Ибо, – добавляет он, – это означало бы продать свою собственную жизнь, которая нам не принадлежит». Я спрошу только, по какому праву те, которые не побоялись унижить самих себя до такой степени, смогли подвергнуть такому же бесчестию свое потомство и отказаться за него от тех благ, которыми оно обязано отнюдь не их щедротам и без которых сама жизнь становится в тягость для всех тех, кто ее достоин?

Пуфендорф говорит¹⁵¹, что точно так же, как мы передаем другим свое имущество посредством соглашений и договоров, мы можем лишиться себя свободы в чью-либо пользу. Это кажется мне совершенно неправильным рассуждением. Ибо, во-первых, имущество, мною отчуждаемое, превращается в нечто совершенно для меня чуждое, и мне безразлично, будут ли употреблять его во зло или нет; но весьма важно для меня, чтобы никоим образом не злоупотребляли моей свободой; и я не могу, не становясь виновным в том зле, которое меня заставят совершать, под-

вергать себя опасности превратиться в орудие преступления. Кроме того, так как право собственности является лишь результатом соглашений между людьми и людьми же установлено, то всякий человек по своему желанию может распоряжаться тем, что ему принадлежит. Но не так обстоит дело с основными дарами природы, такими, как жизнь и свобода, пользоваться коими разрешено каждому; и, по меньшей мере, сомнительно, чтобы люди были вправе лишиться себя этих даров природы; лишая себя одного из этих даров, мы унижаем свое естество, отнимая у себя другой – мы свое естество уничтожаем, поскольку оно в этом и заключается, и так как никакое земное благо не может вознаградить нас за утрату обоих этих даров, то отказываться от них за какую бы то ни было цену значило бы нанести оскорбление одновременно и природе, и разуму. Но если бы и можно было отчуждать свою свободу, как свое имущество, то разница была бы все же очень велика для детей, которые пользуются имуществом отца лишь вследствие передачи им его прав, тогда как свобода – это дар, который они получают от природы как люди, и поэтому у их родителей нет никакого права лишать их этого дара. Следовательно, подобно тому, как чтобы установить рабство, пришлось совершить насилие над природой, так и для того, чтобы увековечить право рабовладения, нужно было изменить природу; и юрисконсульты, которые с важностью провозгласили¹⁵², что дитя рабыни рождается рабом, постановили иными словами, что человек не рождается человеком.

Мне, стало быть, представляется бесспорным не только то, что различные виды Правления вовсе не имели своим источником неограниченную власть, которая есть лишь извращение Правления, крайний его предел и приводит его в конце концов к тому же закону более сильного, средством преодоления которого и были различные виды Правления; но, кроме того, что если бы даже они с этого и начинались, то такая власть, будучи по своей природе незаконной, не

могла служить основанием ни прав общества, ни, следовательно, неравенства, вводимого установлениями.

Не вдаваясь сейчас в разыскания по вопросу о природе первоначального соглашения, лежащего в основе всякой Власти, я ограничусь тем, что, следуя общепринятому мнению¹⁵³, буду здесь рассматривать создание Политического организма как подлинный договор между народами и правителями, которых он себе выбирает¹⁵⁴, договор, по которому обе стороны обязуются соблюдать законы, в нем обусловленные и образующие связи их союза. Так как народ в том, что касается до отношений внутри общества, соединил все свои желания в одну волю, то все статьи, в которых эта воля выражается, становятся основными законами, налагающими определенные обязательства на всех членов Государства без исключения¹⁵⁵, а один из этих законов определяет порядок избрания и власть магистратов¹⁵⁶, уполномоченных наблюдать за исполнением остальных статей договора. Эта власть простирается на все, что может служить для сохранения установленного государственного устройства; но она не может изменить это устройство. К этому добавляются и определенные почести, которые внушают почтение к законам и их служителям, а для личности служителей законов – прерогативы, вознаграждающие их за нелегкие труды, – плату за хорошее управление. Магистрат, со своей стороны, обязуется использовать вверенную ему власть лишь соответственно намерениям своих доверителей, обеспечить каждому возможность мирно пользоваться тем, что ему принадлежит, и неизменно предпочитать общественную пользу своим собственным интересам.

Прежде чем опыт показал, что знание человеческой души заставило предвидеть неизбежные при подобном устройстве злоупотребления, оно должно было казаться тем более прекрасным, что те лица, на которых было возложено следить за его сохранением, сами были более всего в этом заинтересованы. Ибо магистратура и ее права покоятся лишь на основных законах; поэтому с уничтожением

этих последних магистраты тотчас перестали бы быть законными, народ больше не был бы обязан им повиноваться, а так как не магистраты, а Закон составлял бы сущность Государства, то каждый по праву вновь обрел бы свою естественную свободу.

Стоит только подумать об этом повнимательнее, чтобы все это подтвердилось еще и другими соображениями; а из природы договора мы увидим, что он не может быть нерасторжимым. Ибо если бы вообще не было более высокой власти, которая могла бы быть порукою за верность вступающих в договорные отношения их взаимным обязательствам и заставить их выполнять эти обязательства, то стороны остались бы единственными судьями в своем собственном деле, и каждая из них всегда имела бы право отказать от договора, лишь только она обнаружила бы, что другая сторона нарушает его условия или что эти условия перестали ее удовлетворять. Кажется, на этом именно принципе может быть основано право одностороннего отречения. К тому же, если рассматривать, как мы это и делаем, лишь то, что установлено людьми, — если магистрат, держащий в своих руках всю полноту власти и присваивающий себе все выгоды договора, имеет все же право отказаться от власти, то народ, который расплачивается за все ошибки правителей, тем более должен иметь право отказаться от зависимости. Но ужасные раздоры и бесконечные неурядицы, которые неизбежно повлекла бы за собою эта опасная возможность, лучше, чем что-либо иное, показывают, насколько Правительства, людьми установленные, нуждаются в основе более прочной, чем один только разум; и насколько необходимо было для мира в обществе, чтобы божественная воля вмешалась, дабы придать верховной власти характер священный и неприкосновенный, что отняло у подданных пагубное право ею распоряжаться¹⁵⁷. Если бы религия принесла людям лишь только это благо, то и этого было бы достаточно, чтобы люди должны были дорожить ею и принять ее, даже с присущими ей злоупотреблениями, так как она сберегает больше крови, чем

фанатизм заставляет ее проливать¹⁵⁸. Но будем следовать за основной нитью нашей гипотезы.

Различные виды Правлений ведут свое происхождение лишь из более или менее значительных различий между отдельными лицами в момент первоначального установления. Если один человек выделялся среди всех могуществом, доблестью, богатством или влиянием, то его одного избирали магистратом, и Государство становилось монархическим. Если несколько человек, будучи примерно равны между собою, брали верх над остальными, то этих людей избирали магистратами, и получалась аристократия. Те люди, чьи богатства или дарования не слишком отличались и которые меньше других отошли от естественного состояния, сохранили сообща в своих руках высшее управление и образовали демократию. Время показало, какая из этих форм была более выгодною для людей. Одни по-прежнему подчинялись только лишь законам; другие вскоре стали повиноваться господам. Граждане хотели сохранить свою свободу; подданные помышляли лишь о том, как бы отнять свободу у своих соседей, так как они не могли примириться с тем, что другие наслаждаются благом, которым они сами уже больше не пользуются. Словом, на одной стороне оказались богатства и завоевания, а на другой – счастье и добродетель.

При этих различных видах Правления все магистратуры были поначалу выборными, и если богатство не влекло за собой предпочтения, то последнее отдавалось достоинствам, определяющим естественное превосходство, и возрасту, приносящему опытность в делах и хладнокровие при вынесении решений. Старейшины у древних евреев, геронты в Спарте, сенат в Риме и даже сама этимология нашего слова *сеньор*¹⁵⁹ показывают, как некогда почиталась старость. Чем чаще выбор падал на мужей преклонного возраста, тем чаще должны были происходить выборы и тем больше ощущались связанные с проведением выборов затруднения; появляются интриги, образуются группировки, ожесточается борьба партий, вспыхивают гражданские

войны; наконец, кровь граждан начинают приносить в жертву так называемому счастью Государства, и остается сделать еще один только шаг, чтобы впасть в анархию предшествующей эпохи. Честолюбивые начальники воспользовались этими обстоятельствами, чтобы сохранить навсегда свои должности за своими семьями; народ, привыкший к зависимости, покою и жизненным удобствам и уже не способный разбить свои оковы, согласился, чтобы порабощение его усилилось, дабы его спокойствие упрочилось. И, таким образом, правители, став наследственными, привыкли рассматривать свою магистратуру как семейное имущество, а самих себя – как собственников Государства, которого они первоначально были лишь должностными лицами; называть сограждан своих своими рабами, причислять их, как скот, к вещам, им принадлежащим, и называть самих себя богоравными и царями царей¹⁶⁰.

Если мы проследим поступательное развитие неравенства во время этих разнообразных переворотов, то обнаружим, что установление Закона и права собственности было здесь первой ступенью, установление магистратуры – второю, третью же и последнюю было превращение власти, основанной на законах¹⁶¹, во власть неограниченную. Так что богатство и бедность были узаконены первой эпохою, могущество и беззащитность – второю, третью же – господство и порабощение, – а это уже последняя ступень неравенства и тот предел, к которому приводят в конце концов все остальные его ступени до тех пор, пока новые перевороты не уничтожат Власть совершенно или же не приблизят ее к законному установлению.

Чтобы понять необходимость такого развития, нужно иметь в виду не столько побудительные причины установления Политического организма, сколько ту форму, которую он принимает при своем претворении в действительность, и те неудобства, которые его установление влечет за собою. Ибо пороки, которые делают необходимыми общественные установления, сами по себе делают неизбежными и те злоупотребления, которым они откры-

вают дорогу. И так как, за исключением одной только Спарты, где Закон заботился главным образом о воспитании детей и где Ликург утвердил такие нравы, которые почти избавили его от необходимости присоединять к ним законы, — законы, в общем, менее сильные, чем страсти, сдерживают людей, их не изменяя, и легко было бы показать, что всякую Власть, которая, не извращаясь и не изменяясь, следовала бы в точности своей первоначальной цели, не было бы необходимости и устанавливать; и что та страна, в которой никто не обходил бы законов и не злоупотреблял бы властью магистрата, не нуждалась бы ни в магистратах, ни в законах¹⁶².

Различия в политическом положении неизбежно влекут за собою различия в положении гражданском. Когда возрастает неравенство между народом и его правителями, это вскоре дает себя знать и в отношениях между частными лицами, и оно видоизменяется тысячью способов в зависимости от страстей, дарований и случайных обстоятельств. Магистрат не мог бы захватить незаконную власть, не создав своих креатур, которым он, однако, вынужден уступить некоторую долю этой власти. К тому же граждане позволяют себя угнетать лишь постольку, поскольку, увлекаемые слепым честолюбием и вглядываясь больше в то, что у них под ногами, чем в то, что у них над головою, они начинают больше дорожить господством, чем независимостью, и соглашаются носить оковы, чтобы иметь возможность, в свою очередь, налагать цепи на других. Очень трудно привести к повиновению того, кто сам отнюдь не стремится повелевать, и самому ловкому политику не удастся поработить людей, которые не желают ничего другого, как быть свободными. Но неравенство легко распространяется среди людей с душой честолюбивою и низкою, которые всегда готовы испытывать судьбу и господствовать или повиноваться почти с одинаковою охотой в зависимости от того, благосклонна к ним судьба или нет. Таким образом, должно было наступить время, когда народ оказался настолько ослеплен, что его предводителям стоило лишь

сказать ничтожнейшему из людей: «Будь великим и ты, и весь твой род» – и он сразу же всем начинал казаться великим и становился великим в своих собственных глазах, а его потомки еще более возвышались по мере того, как они от него удалялись. Чем более давней и неопределенной была причина, тем более увеличивалось ее действие; чем больше тунеядцев можно было насчитать в семье, тем более знаменитой эта семья становилась.

Если бы здесь уместно было входить в подробности, я бы легко объяснил, как среди частных лиц, даже без вмешательства Правительства, неизбежным становится неравенство влияния и авторитета (XI), лишь только они, объединившись в одном обществе, оказываются вынуждены сравнивать себя друг с другом и считаться с различиями между собою, которые они обнаруживают при постоянном общении, в котором должны находиться. Эти различия многообразны. Но так как вообще богатство, знатность или ранг, могущество и личные достоинства – это главные различия, на основании которых судят о месте человека в обществе, то я мог бы доказать, что согласие или борьба между этими различными силами – это и есть самый верный показатель того, хорошо или дурно устроено Государство. Я показал бы, что хотя из этих четырех видов неравенства личные качества являются причиною появления всех остальных, все эти виды, однако, сводятся, в конце концов, к богатству, ибо оно самым непосредственным образом определяет благосостояние, его легче всего передавать и поэтому с его помощью можно легко купить все остальное; наблюдение это дает возможность довольно точно судить о степени удаления народа от его изначальному устройству и о том, далеко ли он ушел по пути к крайнему пределу разложения. Я отметил бы, как это всеобщее стремление к славе, почестям и отличиям, всех нас сменяющее, заставляет развивать и сравнивать дарования и силы, как это стремление возбуждает и умножает страсти и как, делая всех людей конкурентами, соперниками или даже врагами, оно совершает ежедневно перемены в их судьбе,

делается причиною всякого рода успехов и катастроф, заставляя сталкиваться на одном и том же поприще стольких соискателей. Я показал бы, что именно этому страстному стремлению заставить говорить о себе¹⁶³, этой страсти отличиться, которая почти всегда заставляет нас быть вне себя, мы обязаны тем лучшим и тем худшим, что есть в людях: нашими добродетелями и пороками, нашими науками и заблуждениями, нашими завоевателями и нашими философами, т. е. многим дурным и лишь немногим хорошим. Я доказал бы, наконец, что если горсть могущественных и богатых находится на вершине величия и счастья, тогда как толпа пресмыкается в безвестности и нищете, то это происходит от того, что первые ценят блага, которыми они пользуются, лишь постольку, поскольку другие этих благ лишены и, оставаясь в том же положении, они перестали бы быть счастливыми, если бы народ перестал быть несчастным.

Но одни только эти подробности могли бы составить материал для обширного сочинения, в котором можно было бы взвесить преимущества и неудобства всякого Правления сравнительно с правами естественного состояния, разоблачить все те разнообразные виды, в которых неравенство проявлялось вплоть до сего дня и в которых может оно проявиться в грядущие века, сообразно природе этих Правлений и тем переворотам, которые неизбежно произойдут в них со временем. Мы увидели бы массу, угнетаемую внутри Государства в результате именно тех мер предосторожности, которые были приняты ею, чтобы противостоять внешней угрозе; мы увидели бы, как постоянно растет угнетение, причем угнетенным никогда не дано знать, каков будет его предел и какие у них останутся законные средства, чтобы остановить его рост; мы увидели бы, как теряют свою силу и угасают мало-помалу гражданские права и национальные вольности и как протесты слабых начинают рассматриваться как мятежный ропот; мы увидели бы политику ограничения какой-то группой наемников числа тех лиц, которые удостоиваются чести защищать об-

шие интересы государства¹⁶⁴; мы увидели бы, как из этого возникает необходимость налогов, как павший духом земледелец даже в мирное время покидает свои поля и бросает плуг, чтобы опоясаться мечом; мы увидели бы рождение гибельных и диковинных принципов понимания чести; мы увидели бы, как защитники отечества рано или поздно превращаются во врагов его, постоянно держащих кинжал занесенным над головами своих сограждан, и как неизбежно приходит время, когда они скажут угнетателю их отечества:

*Pectore si fratris gladium juguloque parentis
Condere me jubeas, gravidaeque in viscera partu
Conjugis, invita peragam tamen omnia dextra**

Из крайнего неравенства положений и состояний, из разнообразия дарований и страстей, из искусств бесполезных, искусств вредных, из знаний поверхностных и неглубоких появились бы сонмы предрассудков, равно противных разуму, счастью и добродетели. Мы увидели бы, как правители ревностно поддерживают все то, что может ослабить объединившихся людей, разъединяя их; все, что может придать обществу видимость согласия и посеять в нем семена подлинного раздора; все, что может внушить различным сословиям недоверие и взаимную ненависть, противопоставляя их права и их интересы, и, следовательно, усилить власть, всех их сдерживающую¹⁶⁵.

И среди всей этой безурядицы и переворотов постепенно поднимет свою отвратительную голову деспотизм; пожирая все, что увидит он хорошего и здорового во всех частях Государства, в конце концов, он начнет попирать ногами и законы, и народ и утвердится на развалинах Республики. Времена, предшествующие этой последней перемене, будут временами смут и бедствий, но, в конце

* Если мечом поразить повелишь мне любимого брата,
Иль дорогого отца, иль супругу с младенцем в утробе,
Сердце сожмется в груди, но исполнит рука приказанье.

Лукан. Фарсалия, или О гражданской войне, I, II, 376–378 (лат.)¹⁶⁵

концов, чудовище поглотит все; и у народов больше не будет ни правителей, ни законов, но одни только тираны. С этой минуты не может быть больше речи ни о нравственности, ни о добродетели. Ибо повсюду, где царит деспотизм, *cui ex honesto nulla est spes*^{*}, он не терпит, наряду с собою, никакого иного повелителя; как только он заговорит, не приходится уже считаться ни с честностью, ни с долгом, и слепое повиновение – вот единственная добродетель, которая оставлена рабам.

Это – последний предел неравенства и крайняя точка, которая замыкает круг и смыкается с нашею отправною точкою. Здесь отдельные лица вновь становятся равными, ибо они суть ничто; а так как у подданных нет иного закона, кроме воли их господина, а у него нет другого правила, кроме его страстей, то понятие о добре и принципы справедливости вновь исчезают; здесь все сводится к одному только закону более сильного и, следовательно, к новому естественному состоянию, отличающемуся от того состояния, с которого мы начали, тем, что первое было естественным состоянием в его чистом виде, а это последнее – плод крайнего разложения. Впрочем, оба эти состояния столь мало отличаются друг от друга, а договор об установлении Власти настолько расшатан деспотизмом, что деспот остается повелителем лишь до тех пор, пока он сильнее всех; но как только люди оказываются в силах его изгнать, у него нет оснований жаловаться на насилие. Восстание, которое приводит к убийству или к свержению с престола какого-нибудь султана, – это акт столь же закономерный, как и те акты, посредством которых он только что распоряжался жизнью и имуществом своих подданных. Одной только силой он держался, одна только сила его и низвергает¹⁶⁸. Все, таким образом, идет своим естественным путем, и какова бы ни была развязка сих быстрых и частых переворотов, никто не может жаловаться на несправедливость других, но

^{*} Которому не свойственно ничто порядочное (*лат.*)¹⁶⁷.

только на собственное свое неблагоприятное или на свое несчастье.

Открывая и прослеживая, таким образом, забытые и затерянные пути, которые должны были привести человека из состояния естественного в состояние гражданское, восстанавливая с помощью намеченных мною выше промежуточных этапов те, которые я должен был опустить из-за недостатка времени или которые вообще не были подсказаны мне моим воображением, всякий внимательный читатель может быть лишь поражен огромностью того пространства, которое разделяет оба эти состояния. В этом медленном общем развитии он увидит решение бесконечного множества проблем моральных и политических, которые не могут разрешить наши философы. Он поймет, что человеческий род в одну эпоху – это не род человеческий в другую эпоху, и потому причина, по которой Диоген никак не мог найти человека¹⁶⁹, заключена в том, что он искал среди своих современников человека времен уже минувших. «Катон, – скажет этот читатель, – погиб вместе с Римом¹⁷⁰ и со свободой, потому что не было ему места в его веке; и величайший из людей лишь удивлял тот мир, которым он правил бы пятью столетиями ранее». Словом, он объяснит, как душа и страсти человеческие, незаметно подвергаясь порче, изменяют, так сказать, и свою природу; вот почему с течением времени изменяются предметы наших потребностей и удовольствий; вот почему изначально в человеке постепенно исчезает, и общество открывает тогда глазам мудреца лишь скопище искусственных людей и притворных страстей, которые суть продукт этих новых отношений и не имеют никакого действительного основания в природе. То, что мы узнаем здесь с помощью размышления, полностью подтверждается и наблюдениями: дикарь и человек цивилизованный настолько отличаются друг от друга по душевному складу и склонностям, что высшее счастье одного поглотило бы другого в отчаянье. Первый жаждет лишь покоя и свободы, он хочет лишь жить и оставаться праздным, и даже спокойствие духа стойка не

сравнится с его глубоким безразличием ко всему остальному. Напротив, гражданин, всегда деятельный, работающий в поте лица, беспрестанно терзает самого себя, стремясь найти занятия, еще более многотрудные; он работает до самой смерти; он даже идет на смерть, чтобы иметь возможность жить, или отказывается от жизни, чтобы обрести бессмертие. Он заискивает перед знатными, которых ненавидит, и перед богачами, которых презирает; он не жалеет ничего, чтобы добиться чести служить им; он с гордостью похвально своей низостью и их покровительством, и, гордый рабским своим состоянием, он с пренебрежением говорит о тех, которые не имеют чести разделять с ним это его состояние. Какое зрелище представили бы для караиба тягостные и вызывающие зависть труды какого-нибудь европейского министра! Какую мучительную смерть не предпочел бы этот беспечный дикарь ужасам подобной жизни, которые часто даже не скрашивает отрадное сознание того, что правильно поступаешь! Но, чтобы он увидел, какова цель стольких страданий, нужно, чтобы слова *могущество* и *репутация* приобрели смысл в его уме; нужно, чтобы он понял, что существуют люди, которые придают значение тому, как на них смотрит остальной мир, которые считают себя счастливыми и довольными самими собой скорее потому, что так полагают другие, чем потому, что они сами так считают. Такова и в самом деле действительная причина всех этих различий: дикарь живет в себе самом, а человек, привыкший к жизни в обществе, всегда – вне самого себя; он может жить только во мнении других, и, так сказать, из одного только их мнения он получает ощущение собственного своего существования. В мою тему не входит показывать, как из подобного предрасположения возникает такое безразличие к добру и злу наряду со столь прекрасными рассуждениями о морали; как все сводится к внешней стороне вещей и как поэтому все становится притворным и наигранным – честь, дружба, добродетель и часто даже сами пороки, так как люди, в конце концов, открыли секрет, как с их помощью прославиться, – словом,

как, приучившись постоянно вопрошать других о том, что мы собою представляем, и никогда не решаясь спросить об этом самих себя, мы обладаем теперь, несмотря на такое обилие философии, гуманности, вежливости и высоких принципов, одною только внешностью, обманчивою и пустою: честью без добродетели, разумом без мудрости и наслаждениями без счастья. Мне достаточно было доказать, что не таково изначальное состояние человека и что один только дух общества и неравенство, им порождаемое, так изменяют и портят наши естественные наклонности.

Я старался показать происхождение и развитие неравенства, установление политических обществ и то дурное применение, которое они нашли, насколько все это может быть выведено из природы человека, с помощью одного лишь светоча разума и независимо от священных догматов, дающих верховной власти санкцию божественного права. Из сказанного выше следует, что неравенство, почти ничтожное в естественном состоянии, усиливается и растет за счет развития наших способностей и успехов человеческого ума и становится, наконец, прочным и узаконенным в результате установления собственности и законов. Отсюда также следует, что неравенство личностей, вводимое только одним положительным правом, вступает в противоречие с правом естественным всякий раз, когда этот вид неравенства не соединяется в таком же отношении с неравенством физическим: различие это достаточно ясно показывает, что должны мы думать в этой связи о том виде неравенства, которое царит среди всех цивилизованных народов, ибо явно противоречит естественному закону, каким бы образом мы его ни определяли, – чтобы дитя повелевало старцем, глупец руководил человеком мудрым и чтобы горстка людей утопала в излишествах, тогда как голодная масса лишена необходимого.

ПРИМЕЧАНИЯ

(I) Геродот рассказывает, что после убийства Лже-Смердиса¹⁷¹, когда семь освободителей Персии собрались вместе, чтобы решить, какую им установить в Государстве форму правления, Отанес решительно высказался в пользу Респуб-

лики; предложение в устах сатрапа тем более удивительное, что, если даже не говорить о тех личных притязаниях на власть, которые могли у него быть, вельможи вообще больше смерти боятся такого Правления, которое заставляет их уважать людей. Отанеса, как легко поверить, никто не послушался; и он, увидев, что все остальные собираются приступить к избранию монарха, и не желая ни повиноваться, ни повелевать, добровольно уступил соперникам свое право на престол, потребовав вместо всякого вознаграждения только свободы и независимости для себя и для своих потомков, что и было ему предоставлено. Если бы Геродот и не сообщал нам ничего об ограничениях, которыми была обставлена эта привилегия, все же непременно следовало бы предположить, что такие ограничения были сделаны; иначе Отанес, не признавая никаких законов и не будучи обязан ни перед кем отчитываться, оказался бы всемогущим в Государстве и был бы даже еще могущественнее, чем сам царь. Но почти невероятно, чтобы человек, способный при подобных обстоятельствах удовольствоваться подобною привилегией, был способен ею злоупотреблять. И действительно, мы не видим, чтобы это право вызвало в царстве когда-либо хоть малейшую смуту, ни по вине мудрого Отанеса, ни по вине кого-либо из его потомков.

(II) С самого же начала я с уверенностью ссылаюсь на одно из тех авторитетных мнений, которые должны пользоваться полным признанием у философов, поскольку они исходят от ума основательного и возвышенного, такого, какие одни лишь философы умеют находить и понимать.

«Как бы мы ни были заинтересованы в том, чтобы познать самих себя, я не уверен, не знаем ли мы лучше все то, что не есть «мы». Природа наделила нас органами, предназначенными единственно для того, чтобы служить для нашего самосохранения; мы же пользуемся ими лишь для восприятия внешних впечатлений; мы стремимся лишь распространиться вовне и существовать вне себя. Слишком занятые умножением функций наших чувств и увеличением области внешнего распространения нашего существа, мы редко пользуемся тем внутренним чувством, которое возвращает нас к нашим истинным измерениям и которое отделяет от нас все, что к этому не относится. А между тем именно этим чувством должны мы пользоваться, ежели мы желаем себя познать; это единственное чувство, с помощью которого мы можем о себе судить. Но как придать этому чувству всю его действенность и силу? как освободить нашу душу, в которой оно заключается, от всех неверных представлений нашего ума? Мы утратили привычку пользоваться этим чувством; эта привычка не получила никакого развития в бурях наших телесных ощущений, она иссушена огнем наших страстей; сердце, ум, чувства – все ей противодействовало» («Естественная история»¹⁷², IV, с. 151; «О природе человека», т. II, 1749, с. 430). [...]

(III) Все знания, которые требуют размышления, все знания, которые приобретаются лишь путем развития понятий и совершенствуются лишь постепенно, по-видимому, совершенно недоступны для дикого человека, потому что он не общается с ему подобными, потому что, другими словами, он не располагает орудием, служащим для этого общения, и потребностями, делающими такое общение необходимым. Его знания и навыки ограничиваются умением прыгать, бегать, драться, метать камни и влезать на деревья. Но если он умеет делать лишь это, зато умеет он это делать гораздо лучше, чем мы, не обладающие теми же потребностями. А так как все его навыки зависят единственно от телесных упражнений и не могут по этой причине передаваться от одного индивидуума к другому и развиваться, то первый человек мог быть в них столь же искусен, как и самые далекие его потомки. [...]

(IV) Один знаменитый автор¹⁷³, исчисляя блага и несчастья человеческой жизни и сравнивая оба итога, нашел, что последний намного превышает первый и что, в общем, жизнь для человека – довольно скверный подарок. Я несколько не удивляюсь его выводу: он исходил во всех своих рассуждениях из состояния человека в гражданском обществе. Если бы восходил он до человека естественно-го, то можно полагать, что пришел бы к результатам весьма отличным; он заметил бы, что у человека почти нет иных несчастий, кроме тех, которые он сам для себя создал; и природа была бы оправдана. Не без усилий удалось нам сделать себя столь несчастными. Когда, с одной стороны, смотришь на безмерные труды людей, на такое множество наук, ими разработанных, искусств, ими изобретенных, на такое множество сил, ими приложенных, засыпанных пропастей, скрытых гор, снесенных скал, рек, превращенных в судоходные, распаханной земель, вырытых озер, осушенных болот, огромных зданий, воздвигнутых на суше; на море, покрытое кораблями и матросами; и когда, с другой стороны, исследуешь, немного поразмыслив, какие подлинные блага принесло все это для счастья рода человеческого, то можно лишь поразиться удивительному несоответствию между первыми и вторыми итогами и пожалеть об ослеплении человека, которое, дабы насытить его гордыню и не знаю уж какое тщеславное...